

21  
8

ДЖЕК  
ЛОНДОН



# Любовь Жизни



Книга должна быть  
возвращена не позже  
указанного здесь срока

Количество проданных  
экз.

Р.04-38



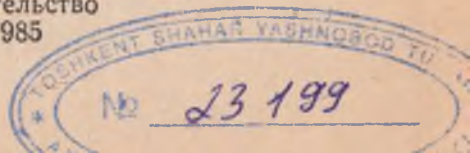


ДЖЕК ЛОНДОН

# Любовь жизни



КРАСНОКОРСКОЕ КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1985



И (Амер.)  
Л76

Печатается по изданию:  
Джек Лондон. Любовь к жизни.  
Изд-во «Детская литература», М., 1969.

Художник Г. С. КРАСНОВ

**ЛОНДОН Д.**  
Л76 Любовь к жизни. Рассказы. — Красноярск: Кн.  
изд-во. — 1985  
1 р. 100 000 экз.

В книгу вошли рассказы известного американского писателя, рису-  
ющие яркие картины жизни и природы американского Севера.

Герои Д. Лондона — люди сильные, волевые, справедливые в му-  
жественные, утверждающие активное отношение к жизни.

Л 4803020000—022 32—85  
М147 (03)—85

© Красноярское книжное издательство, 1985



---

---

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, схваченные ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, — сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенящуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед, — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и поглядел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше.

Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видимое сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; стоял конец июля или начало августа, и он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, и Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому



плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озера к озерку по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низкие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Макензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но, как ни трудно ему было идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл,

конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше, — оставалось только лечь на землю и умереть. И в то время как тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, — оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Он лежал на боку довольно долго, не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрал целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно: он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стертые до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но нена-

долго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фыркание и увидел большого оленя, который настроженно и с любопытством смотрел на него. Олень был от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрипнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни кустов, ни деревьев — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли все три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени оставиваясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: «кр-кр-кр...» Он бросил в них камень, но промахнулся. Потом, положив тук на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли — голод заглушал ее. Он полез по мокрому мху; одежда его намочила, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки всё вспархивали вокруг него, и наконец это «кр-кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руках у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать — так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попала черная-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от известки ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды,



и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание, дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю, в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведро, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыба проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если бы он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустил на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одежда была сырая и холодная на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было.



Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ошупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но это было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что капли дождя падают на его лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык

у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведром. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшие клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не более десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые крадучись, перебежали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам; одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую высыпал обратно в мешочек. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослаб, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми; они хрустели у не-

го на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздражили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведро и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, — ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль

вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог ее побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание— муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошади! он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось тук-тук-тук, словно предостерегая, потом бешено подскочило кверху и затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, преж-



де чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться на оленей, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может ли быть, что к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотал с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели; в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с



собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водораздела, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были не только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели, — он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день», — подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое, блистающее море. И все же это его не изволновало. «Очень странно, — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышалось сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это, по крайней мере, не кажется», — подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Макензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные под подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю, — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не мог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полусохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же

слабыми, неверными шагами тащился за ним волк. И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял опунив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце; и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него, — разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье вороны, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти

бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его оступевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышал чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не



улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорился смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросил ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытие и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевелился ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий, сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере, он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытием и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытия захлестывала его, и он видел длинные сны, но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И



в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезающий в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздвигался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку к кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачи, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели незаметно его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде, чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

## БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

— Кармен и двух дней не протянет.

Майсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, — сказал он, покончив со своим делом и оттолкнув собаку. — Они чахнут и в конце концов издыхают под таким бременем. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума, он...

Раз! Отощавший пес взметнулся, белые зубы едва не впились Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по уху рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я говорю, посмотри на Шукума. Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, он съест Кармен к концу недели.

— А я, — сказал Мэйлмют Кид, повертывая хлеб, оттаивающий у костра, — бьюсь об заклад, что мы сами

съедем Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего на шесть дней, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их глотком.

— С завтрашнего дня никаких завтраков, — сказал Мэйлмют Кид, — и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, бросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погружился в мечтательное созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас есть плиточный чай. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что на женщину можно смотреть не только как на животное или выючную скотину.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж на том условном языке, на котором они только и могли объясняться друг с другом, — вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода, — целые водяные горы пляшут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, сорок снов, — для большей наглядности он отсчитывал количество дней на пальцах, — и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мош-

кары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять двадцать сосен! Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Киды, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, и глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... ящик и — пифф! — поехали. — В виде пояснения Мейсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали. О великие шаманы! — Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-Сити — двадцать пять снов. Длинная веревка отсюда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфы! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь сколько нужно соды. И все время ты в Форте Юкон, а я — в Арктик-Сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбалась этой волшебной сказке, что мужчины покатались со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны. И к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали потихоньку повизгивать, натягивая постромки, уперся в поворотный шест<sup>1</sup> и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогавший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и даже грубый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну, вперед, хромоногие! — пробормотал он после

---

<sup>1</sup> Поворотный шест — прикрепленный сбоку у передка толстый шест, с помощью которого направляют нарты.



нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, позвигивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от перпендикуляра на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые тот свалится от изнеможения через сто ярдов, даже если у него все сойдет благополучно и он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во всю длину, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок, а тому, кто пройдет двадцать снов по великой северной тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и, подавленные величием Белого Безмолвия, путники молча делали свое дело. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ясно, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек, оробев, пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающегося по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, понимая, что жизнь его не более, чем жизнь червя. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом надежда на воскресение и жизнь, и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек и остается наедине с богом.

Так день клонился к вечеру. Русло реки вдруг сде-



лало крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий перешеек. Но собаки не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то что Руфь и Мэймлют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на высокий берег. Но вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатались вниз по откосу, увлекая за собой всю упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Она, несчастная, и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас привяжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, взмахнул рукой — и длинный бич снова обвился вокруг тела провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом повернулась на бок.

Это была трудная, тягостная минута для путников. Издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь озабоченно переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький упрек, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подзревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой копец — ей, а может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы.

В воздухе пронесся вздох; они не услышали, а, скорее, ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мейсон услышал предостерегающий треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы сосны, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища были немая скорбь в лице женщины, и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неопенимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог — натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло, и отбрасывал его вниз, — способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре. Перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали, о том, что он еще жив.

Никакой надежды; сделать ничего нельзя. Медленно подкрадывалась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоицизмом отчаяния, свойственным ее народу; на

бронзовом лице Мейлмюта Кида прибавилось еще несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон—он перенесся в Западный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. И трогательно звучала мелодия давно забытого южного говора, когда он бредил о купанье в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все и сочувствовал каждому слову, как только может сочувствовать тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя. И Мейлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот.

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом я привязался к ней. Она мне была хорошей женой, всегда поддерживала в трудную минуту. А уж что касается нашего промысла, ты сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьего Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Но Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать нашу более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид!

Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдывает... Дай ему хорошее образование... А главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше! Помни: это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, что будет.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид, не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; а может быть, я подстрелю лося.

— Нет! Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... Скажу, чтоб помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова, — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа Мэйлмют Кид натянул на себя парку<sup>1</sup>, надел лыжи, прихватил

---

<sup>1</sup> Парка — верхняя меховая одежда.



ружье и скрылся в лесу. Он не был новичком в борьбе с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет крепили узы дружбы, связывавшей его с Мэйсоном, — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, вся дичь покинула страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвратился с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычавшей своры. Собаки нарушили железный закон своих хозяев и набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, попадая то в цель, то мимо; гибкие тела металась из стороны в сторону, дико сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь иступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль осталось не более пяти футов муки. Руфь вернулась к мужу, а Мэйлмют Кид освеживал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и гробуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки начали грызть ся между собой. Вся свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали, припадали к земле, но только тогда разбежались, когда

от Кармен не осталось и следа — ни костей, ни шкуры, ни шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь в бреду Мэйсона, который снова был в Теннесси, снова вел яростные споры с друзьями юности.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело. Руфь наблюдала, как он сооружает нечто вроде трех хранилищ, что устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича заставив собак смириться, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Его он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах охотничьего ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко в воздух.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед господином всего живущего — перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не препятствовал взрыву горя, когда Руфь поцеловала мужа, — ее народ не знает такого обычая, — потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, понукая собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впадшему в беспамятство, и долго, после того как Руфь скрылась из виду, сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, окутывая его своим покровом и сострадая ему; прозрачная чистота и холод Белого Безмолвия под стальным небом безжалостны.

Прошел час, два — Мейсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним, и его охватил страх. Раздался короткий выстрел; Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мейлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

## КОСТЕР

День едва занимался, холодный и серый — очень холодный и серый, — когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подыматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился, перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было — ни намека на солнце в безоблачном небе, и поэтому, хотя день выдался ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу подымет над горизонтом и мгновенно скроется из глаз.

Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, лежал под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в местах ледяных зато-ров. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, Дайи и Соленой Воды, на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль дальше до Нулато и до Сент-Майкла на Беринговом море — полторы тысячи миль снежного пути.

Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычайный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означало восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что

в пути будет очень холодно и трудно, больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью человека вообще, способного жить только в узких температурных границах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно оградиться рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, никогда не приходила ему в голову.

Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он еще раз сплюнул. И опять, еще в воздухе, раньше чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевки трещат на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — определить трудно. Но это неважно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда с берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак здесь — он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки; завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке; лепешки были разрезаны вдоль и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.

Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завязанного в носовой платок. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, с удивлением думал он растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие



скулы и большой нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.

За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы, рослая, с серой шерстью, ни внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало ясное представление о сильном холоде — представление, которым обладает человеческий мозг. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сбересть свое тепло.

Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда, вплоть до ресниц, была густо покрыта инеем. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а ему уже дважды пришлось делать переходы в сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке. Это и был ручей Гендерсона; отсюда до развилины

оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилки будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.

Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Тропа была ясно видна, но следы последних проехавших по ней нарт дюймов на десять занесло снегом. Видимо, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до развилки, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем, и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.

Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через одну секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморожит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от этого еще никто не умирал.

Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шархнул в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это

были ловушки. Под снегом скоплялись озера глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так часто, что если путник проваливался, он проваливался постепенно, и погружаясь все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.

Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст подается под ногами, и услышал треск покрытой снегом ледяной корки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега ее, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста.

Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.

В ближайшие два часа он несколько раз наткнулся на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерами был ноздреватый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу; вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег; она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную корку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинаясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она это не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше минуты, и он поразился, как быстро они заковенели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он

поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.

К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять ход, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голый рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего проходит боль, оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокалинах и решил, что это онемение.

Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом вынул спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой — в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у



костра, он позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.

Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша выкурил ее. Потом натянул рукавицы, плотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому руслу ручья. Собака была недовольна — она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норе под снегом, дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была рабом, трудом которого он пользовался, и не видела от него другой ласки, кроме ударов бича и хриплых угрожающих звуков, предшествующих ударам бича. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии; ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам. Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и ресницы мгновенно запылевали. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих признаков.

А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничего не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.

Эта неудача разозлила его, и он выругался вслух. Он надеялся в шесть часов уже быть в лагере среди товарищей, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре, — это, по крайней мере, он знал твердо. Он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и

ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.

Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать сучки потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хвостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести костер. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги у него сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановить кровообращение в мокрых, коченяющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.

Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. Быстрая ходьба со скоростью четырех миль в час заставляла его сердце накачивать кровью все сосуды на поверхности тела. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волею-неволею прилиwała к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги коченели все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, ползли мурашки.

Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, ибо костер разгорается все ярче. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута, и уже можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреть ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один пускаться и путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов. И что же? Лед под ним проломился, он совсем один, и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина всегда справится один. Но странно, что щеки и нос так быстро мертвеют. И он никак не думал, что руки подведут его. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживая в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат его телу. Когда он дотрагивался до сучка, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.

Но все это неважно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной корой, толстые шерстяные носки, словно железные ножны, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он держал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.

Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, его оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он сидел, скопилось много снега. Ветра не было очень давно, и на вершине дерева лежал снег. Каждый раз, когда человек выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветки пониже, увлекая за собой

их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.

Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокойным. Быть может, старик с Серного ручья все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность — спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз не должно быть ошибок. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, должно быть, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.

Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сделал новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла загасить его. Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня не было.

Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он не бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильнее и сильнее. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил размахивать руками, колотить ими по бедрам, а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на человека. И человек, размахивая руками и



колота ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем поднимается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.

Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое покалывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же снова онемели. Потом он достал связку серных спичек. Но ледянящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно старался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать; но сообщение было прервано, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе на колени. Но этого было мало.

После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по бедру, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горячей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.

Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук. Подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек за-

пылали как одна! И ни малейшего ветра, можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.

Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте паливший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха придавил едва разгорающийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра: тлеющие травинки и прутики рассыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их, но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер развалился. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, погасали. Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.

Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее, но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помгла ей почуять опасность, — она не знала, какая это

опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами, но не трогалась с места. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.

Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что его онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему стать на ноги, как подозрения собаки рассеялись; а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напоминавшим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.

Но это было все, что он мог сделать: сидеть в снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими бессильными руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить. Он выпустил ее, и собака кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. В двадцати шагах она остановилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам, и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях, — откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.

Гнетущая мысль о близости смерти смутно и вяло шевельнулась в его мозгу. Но тотчас же этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног, — теперь это был вопрос жизни и смерти, и на-

дежды на спасение почти не было. Его охватил панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее — берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время рассудок говорил ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком заоченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.

Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по поверхности, не задевая ее. Он как-то видел на картине крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.

В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян: у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги у него стали заплетаться, и, наконец, он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не трясло, и по всему телу даже разливалась приятная теплота. Но, дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Потом его поразила мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью заоченевшим. Это было свыше его



он, и он снова, как безумный, бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб возобновился быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, пробежав не больше ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой, — почему-то именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огibt поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрел на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему пригрезился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав, — пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих медлительных сумерках. Костра не предвиделось, да и опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумер-

ки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек молчал. Тогда собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака спятилась от него, шерсть у нее стала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

## ТЫСЯЧА ДЮЖИН

Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы и он их учел, как человек осторожный, весьма практический и трезвый, неспособный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альма, — высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске, — понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются

только с Дайи, а на дорогу до Дайи за глаза хватит пятидесяти долларов, даже если ехать первым классом.

Ну-с от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по двенадцати центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов, а с тысячи — сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности — ну, хотя бы в двести. Один приезжий из Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров, по сто пятьдесят долларов с головы, — значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну... вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры, — значит, всего двести пятьдесят, — быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение, — радостно подхватил муж — значит, пятьсот останется про запас, на экстренные расходы.

Альма пожалала плечами и подняла брови. Если просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут проглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и поэтому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени — на случайные задержки, — то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, которые я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападку на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как по-твоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник — правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь, каких мало, — разве не привез он с таинственного Севера

на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму; из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта — значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не остается ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче.

«Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина» — весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью.

Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, и коммиссионные конторы были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во второй класс, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, посадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец пятнадцать дюжих индейцев, сговорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крез из Скагуэя в грязной рубаше и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьсот центов за фунт — это тысяча



долларов за тонну, и после того как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу Тантала, день за днем глядя, как свежевостроганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди работали как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы, — конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что, — а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам тащил обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов наличными, а денег у него не осталось.

— Я так думаль, вы погодить немножко, — говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтобы понять это, — совсем немножко погодить, и я вам сделаю очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж которых был рассыпан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого Лагеря.

— Да, — сказал он значительно. — У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там кончают конопатить для меня лодку. И я считаю,

что это еще счастье. Сами знаете, лодки нынче нарахват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! Давайте-ка сюда эту лодку, — приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качал головой.

— Сколько вам за него должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четыреста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говориль ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко..

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.

И после этого Расмунсен видел его только один раз — когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отправились следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько? — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин, — с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгоню вас.

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаим-

мы, но он отказался, и тогда янки заключил пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу выдавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело окуналась в воду. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди kloкочущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетасили груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего перевала, — уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же, в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но, вместо того, чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступить было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— М-мы не с-сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом, берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус — значило дать волне нагнать и захлестнуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на пороги. Маленькая шлюпка позади, в которой сидело двое, перевернулась кверху дном.

— Г-гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченеющими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и растревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернея среди волнующейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк? — крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и искал глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробойны и теперь наверстывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади — было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в безд-



ну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас з-зароется и-носом в воду!

В ту же минуту черный брезент закрыло высоким гребнем. Вторая и третья волна прокатились над этим местом, но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Выснулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в двадцати от «Альмы».

На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это — она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит! — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту! — огрызнулся тот, что стучал зубами. Оба они пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку; он стоял, пошатываясь, его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких, и таких, как «Альма», но все они,

гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

— Полезай! — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц! — крикнул он в ответ. — Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Полезай! — кричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым баркасом и, перехлестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.

Тремя часами позже, весь закоченев, выбившись из сил и бормоча как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбацкой лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшиеся до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилам с Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскоружлыми от бобов желудками при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дая и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, волновался

и тревожился и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагиш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбросило на берег у Винди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волнами на Тагише и прибывало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целы. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен с каким-то окаменелым выражением лица пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути, имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов, не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга, и врач в Оленьем Поселке отнял ему два пальца на ноге. Однако Расмунсен не сдался и после этого; до пролива Пюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско щуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем, руки огрубели от холода и тяжелой работы, под ногти черной каймой забились грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокасинах, лыжах и зимних тропях. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чил-

кут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришлось труд утаптывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костра, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему это люди не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжелый труд, но, когда по утрам они упирались и отказывались двигаться со стоянки, он заставлял их браться за дело, грозя револьвером.

После того как он провалился сквозь лед у порогов Белой Лошади и опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обмороживания, индейцы думали, что Расмунсен сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял и, сделав из него огромных размеров мокасин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними нартами. Это была самая тяжелая работа, и индейцы научились уважать его, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они попытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они вернулись, угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем, ни ночью им не представлялось удобного случая.

Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро охлаждал их пыл, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло — люди были непокорны, собаки одичали, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгонял их от яиц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза, и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые



ступал всей тяжестью на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был человеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине — тысяча дюжин яиц, и его «я» витало где-то на полдороге между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заведенной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барж, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил себе легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливавшийся от дыма костров и от непосильной работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты, на случай, если подломится лед, и, выбравшись на эту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под сне-

тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями; на него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за повторный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасин, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом — она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожилы и свежее мясо только что убитого лося прибавили сил ему и собакам; добравшись до Эйнсли, он воспрянул духом: беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских Казарм; колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты..

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца, — с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс.

— Не может быть! Это всё яйца?

— Да, всё.

— Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. — Нет, в самом деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара, — сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек. — Давайте мне дюжину!

— Я.. я хочу сказать, полтора доллара за штуку, — нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получает.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц. — Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шкуре поддерживал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженных яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте Карло», второй поворот, сейчас же за углом, — сказал он, — окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна — бутылки... Тра-ла-ла! — пропел он минутой позже. — Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную — купить бифштекс и вяленой рыбы

для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку... Тысячу дюжин... Восемнадцать тысяч долларов! — твердил он вполголоса, хлопоча возле печи.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шкуре. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте... — начал он и замялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекошились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю, — с трудом выговорил он, роясь в кармане. — Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело, — ответил человек в медвежьей шубе, — а нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказывался, пятясь к дверям.

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, оставившись у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.



— Должно быть, на пароходе испортились, — заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают, — отрекомендовался гость. — Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это конечно, не то, что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевелился.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.

— Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тулхятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?

— Подите к черту, — негромко повторил Расмунсен, — убирайтесь вон!

Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, перебросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко, — он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.

## КОНЕЦ СКАЗКИ

### I

Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой

низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной, — это замерзала влага от человеческого дыхания.

Роббер был решающим: проигравшей паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в семифутовой толще льда и снега, покрывавших Юкон.

— Такая вспышка мороза в марте — это редкость! — заметил человек, тасовавший карты. — Сколько, по-вашему, градусов, Боб?

— Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док?

Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда.

— Никак не больше пятидесяти. Или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки «пятьдесят», но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семидесяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше.

Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в ответ на раздавшийся стук в дверь:

— Войдите!

Вошедший был рослый, плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стало возможно только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг.

— Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор появился, — вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжелых испытаниях. — Я приехал издалека. С северной развилины Вайо.

— Я доктор. А что?

Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто, бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда.

— Дайте погляжу, — нетерпеливо прервал его доктор. — Положите руку на стол. Сюда, вот так!

Швед осторожно, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели.

— Гм, — буркнул доктор, — растяжение сухожилия. Из-за этого вы тащились сюда за сто миль! Да ведь исправить его — дело одной секунды. Следите за мной — в другой раз вы сумеете проделать это сами.

Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаха опустил ее нижний край на распухший, скрюченный палец. Человек взревел от ужаса, и боли. Крик был какой-то звериный, да и лицо у него было как у дикого зверя; казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую шутку.

— Тише! Все в порядке! — резко и властно остановил его доктор. — Ну как? Полегчало, правда? В следующий раз вы сами это сделаете... Строзерс, вам сдавать! Кажется, мы вас обставили.

На туповатом, бычьем лице шведа выразилось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом.

— Сколько?

Доктор нетерпеливо мотнул головой.

— Ничего. Я не практикую. Ваш ход, Боб.

Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора.

— Вы хороший человек. Звать-то вас как?

— Линдей, доктор Линдей, — поторопился ответить за доктора Строзерс, словно боялся, как бы тот не рассердился.

— День кончается, — сказал Линдей шведу, тасуя карты для нового круга. — Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка.

Доктор Линдей был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, но в этой бледности не было ничего болезненного. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы, не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально, — казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные, нервные, были как бы созданы для тонкой работы, и с первого же взгляда в них угадывалась сила.

— Опять наша! — объявил он, забирая последнюю взятку. — Теперь только доиграть роббер, и посмотрим, кому придется делать прорубь!

Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул:

— Войдите! Кажется, нам так и не дадут докончить этот роббер, — проворчал он, когда дверь отворилась. — А с вами что случилось? — Это относилось уже к вошедшему.

Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах, должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед — в нем виднелось лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замерз янтарной сосулькой, заостренной книзу, как ван-дейковская борода.

Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отдирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку.

— Со мной-то все в порядке, — произнес он наконец. — Но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литтл Пеко человек схватился с пантерой, и она его черт знает как изувечила.

— А далеко это? — осведомился доктор Линдей.

— Миль сто будет.

— И давно это с ним случилось?

— Я три дня сюда добирался.

— Плох?

— Плечо вывихнуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.

— Удружили человеку! — усмехнулся доктор. — А в каких местах эти раны?

— На животе.

— Ну, так теперь ему конец.

— Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим, и только потом зашили — на время, конечно. Надергали ниток из белья — другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли.



— Можете уже считать его мертвецом, — дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты.

— Ну нет, он не умрет! Не такой человек! Он знает, что я поехал за врачом, и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет. Я его знаю.

— Христианская наука — как способ лечить гангрену? — фыркнул доктор. — Впрочем, какое мне дело. Я ведь не практикую. И не подумаю ради покойника ехать за сто миль в пятидесятиградусный мороз.

— А я уверен, что поедете! Говорю вам, он не собирается помирать!

Линдей покачал головой.

— Жаль, что вы напрасно ездите в такую даль. Запечуйте-ка лучше здесь.

— Никак нельзя! Мы двинемся отсюда через десять минут.

— Почему вы так в этом уверены? — запальчиво спросил доктор.

Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни:

— А потому, что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю, прежде чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она — молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. Если он сдаст, она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной, что он будет живехонек, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут.

Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел.

— Черт его побери! — крикнул Линдей, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь.

## II

В ту же ночь, когда было пройдено двадцать пять миль и давно наступила темнота, Линдей и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело бы нехитрое, хорошо им знакомое; развести костер на снегу, а рядом,

настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собаку, нарубил льда и веток для костра. Линдей, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины, потом, завернувшись в одеяла, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей.

Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линдея, была примерно пятнадцать ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что, если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высотой где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени.

В тот вечер, удобно расположившись в темном, мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба они были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля.

— Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантеру, — говорил Доу. — Рокки называет ее «кугуар». Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон, — я ведь тамошний уроженец, — и там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище! И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу.

Линдей не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину.

Линдей вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издали доносился неясный, тревожащий гул, который скоро перешел в злобный рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, несясь через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расщелинах

каменных склонов, и путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахом весны, промчался мимо, взметнул из костра целый дождь искр.

Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завyli по-волчьи: долго, протяжно.

— Это Чинук, — сказал Доу.

— Значит, двинемся по реке?

— Конечно. Десять миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге. — Доу долго и внимательно всматривался в Линдея. — А ведь мы уже идем пятнадцать часов! — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Линдея, и опять помолчал. — Док, — сказал он наконец, — вы не из трусливых?

Вместо ответа Линдей выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке, вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел Чинук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцатисемичасового пути.

— Часок можно соснуть, — сказал Доу после того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом.

Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком, оседающем снегу. Снег оседал на глазах: за два часа его уровень понизился на три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое внешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литтл Пеко, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы.

Доу тронул Линдея за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его.

— Ну и спите же вы! — восхищенно шепнул он. — И можете поспать еще сколько угодно.

Усталые черные глаза под тяжелыми веками выражали благодарность за комплимент.

— Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно

искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док! — снова встряхнул он Линдею, у которого смыкались глаза. — Послушайте, док! Я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного?

Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег.

— Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья, — подбадривал спутника Доу. — А там хоть провались под лед, нам все равно: мы двинемся берегом. И всего-то нам останется пройти миль десять до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за один день доплыть в лодке к себе.

Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литтл Пеко сердито урчала. На каждом шагу, по мере того как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила десяти, пройденных верхней дорогой, появлялись все новые трещины и полыньи.

— Садитесь на нарты, док, и вздремните немного, — предложил Доу.

Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение.

Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Лыдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу.

— Значит, выше река вскрылась, — объяснил Доу. — Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться. Ну, пошли, док! Гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не одну неделю!

Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье: словно взорвавшись лед с гро-



котом раскололся пополам под самой упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, тащили за собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду.

Мясо и меховые одеяла они сложили в тюки, а нарты бросили. Линдея возмутило, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем.

— Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли!

Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где спалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче.

— Железный вы человек, Доу! — восхитился он.

— Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала. Я горец, но куда мне до него! Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я, грешным делом, думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу! А он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам! Меня даже обида взяла. Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят? — «Ясно!» — говорит. И ведь показал! Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя.

Этот человек ни в чем удержу не знает! Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую — фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли! «Не делай этого! — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье. — У тебя единственный патрон, а темень такая — не видать, в кого целишься».

«Полезай, говорит, на дерево». На дерево я не полез, но, когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом, — скажу честно, пожалел я, что его не послушался. Ну и попали в переделку! Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, фута в четыре, высотой. С одного краю собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь: собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона!

Что же делает Рокки? Ложится на гч, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии: жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут как понесется вся честная компания — медведь, собаки и Рокки! Промчались футов двадцать, покатались вниз, рыча, ругаясь, царапаясь и бултых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки! Уж если он на что решился, ничего его не остановит.

На следующем привале Линдей услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье.

— Пошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад — слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. «Кто ж это, думаю, возится?» Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую

дурацкую забаву! Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перешеголяли. Попала к ним и капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу — Гарри ударяет ею; потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть.

Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка делалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось: дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим», — говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется», — говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере.

Не хотел бы я опять увидеть такое! Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все шесть футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в четыре дюйма! Кошка и сгребла его. Схватились они — не видать, где он, где она! Стрелять нельзя! Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло.

— Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал! — сказал Линдей.

Доу кивнул в знак согласия:

— Она так и говорила. И просила меня, чтоб я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось.

— Он что, сумасшедший? — сердито спросил Линдей.

— Оба они шальные какие-то — и он и брат его, — все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились. Что бы ни избрело в голову, за все берутся! И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей Рокки — на все пойдет! Но он очень бережет ее. Обращается, как с королевой, никакой тяжелой работы делать не

дает. Для того и наняли меня да еще одного человека за хорошее жалованье. Денег у них уйма. А уж любят друг друга как сумасшедшие!

«Похоже, здесь будет недурная охота», — сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрали на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся», — говорит Гарри. Я-то все время думал, что они золото ищут, а они за всю зиму и таза песку не промыли на пробу.

Раздражение Линдея еще усилилось.

— Терпеть не могу сумасбродов! Я, кажется, способен повернуть обратно!

— Нет, этого вы не сделаете! — уверенно возразил Доу. — И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз, к хижине. А главное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад!

Как ни был Линдей измучен, огонь сверкнул в его черных глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку.

— Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки.

### III

Не день, а три спустя, после того как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линдей и Том Доу добрались наконец до хижины в плодородной долине, на берегу бурной Литтл Пеко. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линдей сперва не разглядел как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линдей заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны резцом.

— Чем промывали? — спросил Линдей у женщины.

— Сулемой, обычным раствором.

Линдей быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко



выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь это скрыть. Линдей повернулся к мужчинам.

— Уходите отсюда! Займитесь колкой дров, чем угодно, только отсюда уходите!

Один из них стоял в нерешительности.

— Случай очень серьезный. Мне надо поговорить с его женой, — продолжал Линдей.

— Но я его брат, — возразил тот.

Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери.

— И мне вон идти? — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел.

— И вам.

Линдей принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет.

— Так это и есть твой Рекс Стрэнг?

Женщина бросила взгляд на лежащего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он, потом молча посмотрела в глаза Линдею.

— Что же ты молчишь?

Она пожала плечами.

— К чему говорить? Ты ведь знаешь, что это Рекс Стрэнг.

— Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись. — Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью. — Я отчаянно устал. Шоссейной дороги от Юкона сюда еще не провели.

Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца.

— Что ты думаешь делать? — спросила она, подождав минуту.

— Поесть и отдохнуть, прежде чем пушусь в обратный путь.

— Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь? — Женщина движением головы указала на человека, лежавшего без сознания.

— Ничего.

Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос.

— Ты хочешь сказать, что убьешь его? — медленно проговорила она. — Дашь ему умереть без помощи? А ведь, если ты захочешь, ты можешь спасти его.

— Понимай как знаешь. — Линдей подумал и ска-

зал с хриплым смешком: — С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.

— Ты несправедлив, Грант, — возразила она тихо.— Ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе.

— Удобная точка зрения! — сказал Линдей. — Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло?

— Мыслящий человек способен и сильно любить...

— И в то же время действовать разумно, — вставил Линдей.

— Значит, ты признаешь, что я поступила разумно? Он поднял руки к небу.

— Черт возьми, вот что значит говорить с умной женщиной! Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом.

Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излучало женскую гордость.

— Нет, нет, беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила бы его и кого угодно — лицом, фигурой, всем!.. Кому, как не мне, знать это! Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

Он говорил быстро, нервно, раздраженно и, как всегда (Медж это знала), искренне. Она ответила только на его последние слова:

— Ты еще помнишь Женевское озеро?

— Еще бы! Я был там до нелепости счастлив.

Она кивнула головой, и глаза ее засветились.

— От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни... на одну только минуту... вспомни, чем мы были друг для друга... И тогда...

— Вот чем ты хочешь меня подкупить, — улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал: — Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина.

— Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека, — настаивала она.

Линдея наконец прорвало:

— Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены?

— Но ты уже здесь... Посмотри, в каком он состоянии! Что ты сделаешь?

— Ничего. С какой стати? Он ограбил меня.

Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали.

— Убирайтесь вон! — закричал Линдей.

— Может, вам нужно помочь?

— Уходите, говорю! Принесите только ведро воды и поставьте его у двери.

— Ты хочешь... — начала она, вся дрожа.

— Умыться.

Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью, и губы ее плотно сжались.

— Слушай, Грант, — сказала она твердо. — Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя. Да что! Даже Том Доу сделает это, если я попрошу.

— Мало же ты меня знаешь, что угрожаешь мне! — серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил: — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть может твоему Рексу Стрэнгу?

Она судорожно вздохнула, но тут же крепко стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бывший ее озноб.

— Это не истерика, Грант! — торопливо воскликнула она, стуча зубами. — Ты знаешь, что со мной никогда не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу: и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант! И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей! О Грант, умоляю... умоляю тебя...

— Просто нервы! — сухо заметил Линдей. — Перестань! Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была женщиной, я рекомендовал бы тебе покурить.

Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, силясь овладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линдея сло-

жились в улыбку, не предвещающую ничего хорошего.

— Ты сильно его любишь? — спросил он.

Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко заблестели. Она глядела на него гордо, не тая страсти. Линдей кивнул в знак того, что ответ ему ясен.

— Давай потолкуем еще немного. — Он помолчал, словно обдумывая, с чего начать. — Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка. Написал ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать... Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, по натуре цыган, бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня... там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя: оно нарушает обмен веществ.

Потом случилось так, что человек этот ослеп и через десять лет, приведенный за руку, как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. А она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. (Вспомни, он поклонялся красоте). Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее.

Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать: «Конец!» — и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир: стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью.

Линдей передернул плечами.

— Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала? Прозрев, он напишет пять картин, но ее он тогда покинет, ведь красота — его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром...



Линдей замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков.

— Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?

— А если да?

— Действительно любишь?

— Да.

— И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?

Медленно, с усилием она ответила:

— Да.

— И ты уйдешь со мной?

На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот:

— Когда он поправится, да.

— Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.

Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой.

— Очень хорошо! — Линдей быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни. — Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех... Нужен будет кипяток, как можно больше кипятку. Бинты и привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайтесь кипятить воду — всю, сколько ее есть под рукой. А вы, — обратился он к Гарри, — вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи! Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простыней, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще по мере надобности. Теперь слушайте: я научу вас, что надо делать. Прежде всего — умеете вы следить за пульсом?

#### IV

Линдей славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя.

Потому ли, что Стрэнг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более

здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость.

Были дни очень высокой температуры и бреда; дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно; дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и выигрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу: сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде.

— Он останется калекой? — спрашивала Медж.

— Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга, нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами — словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю: он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна? Не забывай: тебя-то с ним не будет.

— Продолжай, продолжай свое дело, — отвечала она беззвучно. — Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.

Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции: он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины.

Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм.

— Вы убьете его! — запротестовал Гарри. — Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой калека, чем полностью починенный труп.

Линдей вспыхнул от гнева.

— Убирайтесь вон! Вон из хижины, пока вы, поду-

ман, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь! Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь нашего брата все еще висит на волоске. Понятно? Дуньте на нее — и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалить дурака.

Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Медж, как бы спрашивая совета.

— Уйди, пожалуйста, уйди! — взмолилась она. — Доктор прав. Я знаю, что он прав.

В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал:

— Док, вы чудодей! А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия.

— Не ваше дело! Уходите, не мешайте!

Процесс заживления истерзанной правой руки неожиданно приостановился, страшная рана опять вскрылась.

— Наркоз, — сказал Линдей.

— Теперь ему конец! — простонал брат.

— Замолчите! — прикрикнул на него Линдей. — Ступайте вместе с Доу, возьмите и Билла — добудьте мне зайцев... живых и здоровых! Наловите их силками. Повсюду расставьте силки.

— Сколько зайцев вам надо?

— Сорок... четыре тысячи... сорок тысяч... сколько сможете добыть! А вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело. А вы, ребята, ступайте за зайцами.

Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание.

— Этого, конечно, никогда бы не случилось, — объяснил он Медж, — если б у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать... Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была.

Из сотни принесенных зайцев Линдей отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой.

И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдеем и Медж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости.

— Это хлопотливое дело! — говорил он. — Но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? По-едем на Женевское озеро?

— Как хочешь! — отвечала она.

А в другой раз он сказал:

— Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, знаю. Но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год, я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов.

— А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне.

— Вот как! — насмешливо буркнул Линдей. — А может, твой Рекс слишком поглощен пантерами и короткими палочками?

Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил.

— Этого не объяснишь, — всегда отвечала она.

И наконец однажды ответ ее прозвучал резко:

— Никто не может объяснить, что такое любовь, и я — меньше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую, — вот и все. В Форте Ванкувер какой-то магнат из Компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой, в Англию, жаловался, что служащие Компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы



растет книзу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет книзу. Я только констатирую факт».

— К черту умных женщин! — закричал Линдей. Глаза его сверкали гневом.

— Что тебя привело на Клондайк? — спросила Медж.

— У меня было слишком много денег и не было жены, чтоб их тратить. Захотелось отдохнуть — должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл — та же история, Ренсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь себе представить! Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И вот, когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу...

Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух.

— Разрешите мне теперь сказать ему, — попросила Медж.

— Нет, подожди еще, — ответил Линдей.

Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемый с обеих сторон.

— Пора сказать ему, — твердила Медж.

— Нет. Я хочу прежде довести работу до конца. Чтобы не было никаких недоделок! Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на десятерых хватит.

Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах Скалистых гор, на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом.

Линдей не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движения тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались

и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая, розовая поверхность, к которой он подсадил живую ткань.

— Позволь мне наконец сказать ему! — умоляла Медж.

— Еще не время, — был ответ, — Скажешь ему, когда лечение будет закончено.

Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость — такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий — казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху.

— Хватит! — крикнул он Стрэнгу. — Не могу угнаться за вами!

Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пенек, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам.

— Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намек на боль? — спросил Линдей.

Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом.

— Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзывать болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.

— Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить... Я до сих пор даже не знаю вашего имени!

— Это неважно. Помог вам выпутаться — вот что главное.

— Но ваше имя должно быть известно многим! — настаивал Стрэнг. — Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.

— Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание — и я вас оставлю в покое. За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток, Биг Винди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не убили. Так вот, заночуйте здесь, а я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание: дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.

## V

— Ну, — сказал Линдей, обращаясь к Медж, — даю тебе час времени на сборы, а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется дотемна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю — в Доусоне.

— А я надеялась... — Медж из гордости не договорила.

— Что я откажусь от платы?

— Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким. Зачем ты отослал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно!

— Оставь ему письмо.

— Да, я все ему напишу.

— Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем трем, — сказал Линдей.

Когда он вернулся с лодкой, вещи Медж были уже сложены, письмо написано.

— Если ты не возражаешь, я прочту его.

После минутного колебания она протянула ему письмо.

— Достаточно прямо и откровенно, — сказал Линдей, прочтя его. — Ну, ты готова?

Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживая челнок на месте, другую протянул Медж, помогая ей войти. Линдей внимательно следил за

ней, но Медж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт.

— Постой! — сказал он. — Одну минуту! Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я тебе рассказывал? Я ведь тогда ее не досказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях...

Медж ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение.

— Ты очень красива, Медж... — Линдей сделал паузу, потом сухо добавил: — Остальное ясно. Думаю, что объятия Стрэнга недолго останутся пустыми. Прощай.

— Грант! — промолвила она почти шепотом, и голос ее сказал ему все то, что понятно и без слов.

Линдей рассмеялся коротким, неприятным смехом.

— Я только хотел тебе доказать, что я не так уж плох, — как видишь, плачу добром за зло.

— Грант!

— Прощай! — Он вошел в лодку и протянул Медж свою гибкую, нервную руку.

Медж сжала ее в своих.

— Дорогая, мужественная рука! — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее.

Линдей резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил туда, где зеркальная вода уже кипала белой клокочущей пеной.

## НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО

Ветер мчится — хо-хо-хью! —  
Прямо в Калифорнию.  
Сакраменто — край богатый.  
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким, пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, когда крутят лебедку, снимаясь с якоря, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, который никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него —



только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его, потому что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды, в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над проклятой лебедкой, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище, среди больших суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании — сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекину-

тых высоко над рекой, малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие простой силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, все повторялось снова, повторялось много, много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубашке, с винтовкой на плече, вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш! — крикнул он. — Что ты тут делаешь один-одинешенек?

— А я здесь теперь за хозяина, — ответил малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному. — Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он еще вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. В он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри, будь поосторожней, — посоветовал ему Холл, — не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне «Колченогая Корова».

— Как бы дождя не было, — степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам

к десяти сосны закрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня, уж конечно, гулять не придется», — решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: «Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен — фермеры, жившие в уединенной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел, в каньон «Колченогая Корова». А вам что, на ту сторону надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри, — сказал Спиллен. — Отца у нее, — он ткнул пальцем в сторону плачущей жены, — задавило на руднике, в шахте «Клеверный Лист». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри он не мог решить-

ся на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров, и она уже давно находилась в бездействии.

— А может быть, Холл скоро придет, — промолвил мальчик.

Спиллен покачал головой.

— А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско, — коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл, — робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону. (Джерри нерешительно кивнул.) А дожидаться Холла нет никакого смысла, — продолжал Спиллен, — ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогая Корова» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Неудивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку», — так невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась бездной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, во все не было видно сквозь ливень, гонимые неистовым ветром клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра.



Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку.

Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверх.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

— Триста футов... — шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле. — Триста пятьдесят... четыреста... четыреста...

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле, на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега, висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел

вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабанах на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать голько, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это случилось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал гнать — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хотя и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на этом и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и

словно отданных на растерзание разъяренным стихиям.

В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услышал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ошупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу:

— Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского шпагата. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерил себе некое подобие люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А сверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда

и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... А вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку, и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе, — крикнул Спиллен, — да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставляю! — крикнул ему в ответ Джерри. — Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо было освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахи-



пался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса, Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно, — длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решил вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно, — вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко расплакался.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряже-

ния, не отпускаявшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, бешущейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверный Лист».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, ибо твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Однако только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

## ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.  
Господь, укрепи мои мышцы к труду.  
А если смерть суждена, я творца  
Молю дать работу свершить до конца.  
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытие, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика,

но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне — постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты.

Он повис на краю кровати, и казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие; потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Магь отпустила его — он проснулся.

— Ладно, — пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу свой продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться, — упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как камень. «Хоть раз в день» умыться лицом считалось обязательным. Джон-

ни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем, — сказала мать, когда Джонни сел к столу. — Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это значит еды прибавится, — заметил он рассудительно. — Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой, — сказала она. — Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка, — поспешно сказала мать. — Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзину, ему же подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него, — пояснила она.



Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом, — сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице.

День был ясный, морозный, и Джонни поеживался, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступить по земле.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним над ящиком с мелкими шпульками быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой, как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю

долгую ночь. вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и вlepил ему за трещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И неудивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, выросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цехе этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Это новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпуплек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цехе.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Так же и мастер.

Но в одиннадцать часов в цехе началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка, работающий рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которую создал для себя Джонни; это был инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худошав немного, — тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ. — А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду, — сказал, вернее, прокричал, инспектор, наклоняясь к его уху. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать,— сказал управляющий.

— Или все шестьдесят!— отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то! — Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок. — Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор. — Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одному:

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по



золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался, лечь ли ему спать, или выйти на улицу, и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам

мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него большую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и не отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подросла мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристаёт! — отвечал Джонни. — Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью. — Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой, — огрызнулся Джонни. — Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал, — запротестовала она. — Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше излить свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать его.— От работы не отлыничивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни проворкотал, закрывая глаза:

— Вот именно — не отлыничивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболел. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличить производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее — он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он



частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта Клауса — он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он получил первое жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема», — сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть, домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость гроз-

ного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втопанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание о действительном событии, — нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходить ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случилось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины, да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

...Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до»,

или «после того как я перешел в крахмальный», — вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормилица семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов, — и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивая губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.  
— «Плавучий остров»! — объявила она с торжеством.

— А-а, — сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а, — повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они металась взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход; челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», — сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. «Еще неделя, — сказал врач, — и он вернется на работу». Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху, — сказал он матери. — Место за ним сохраняют. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни, — озабоченно сказала мать. — Он так был плох, до сих пор в себя не пришел, — виновато объяснила она гостю.



Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потемнело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы. — И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь, — сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно — ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал, не встану, — повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом.

Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс.

— Ничего особенного,— сказал доктор,— очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой,— сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама,— объявил он.— Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот, дожидая!— проговорила она сквозь слезы; потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства.— Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она. — Что ты говоришь!

Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он.— Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со вздохом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню,— сказал он.— Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть

тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч, — он сказал это с великодушием щедрого филантропа, — отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.

А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать... а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну конечно, Вилли и ребятишки... — повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли: чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила, — заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила, — сказал он кротко и грустно. — Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу...

Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла, — всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать,— сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — замороженное, искаленное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

## ЯЗЫЧНИК

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган. И, хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил на него внимание только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь



состоявшей из канаков<sup>1</sup>, но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился, и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А-Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один из восьмидесяти пяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и развлечься в Папеете.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копррой. Даже кладовку забили перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А, кроме того, полно было поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздь бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штангами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти путь дня за два-три, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день — один из тех ослепительных зеркальных шти-

---

<sup>1</sup> Канак — коренной житель Гавайских островов, канаками называли и всех полинезийцев.

лей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинает болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи,— в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа — вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни единого случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать — только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день — трое, потом количество смертных случаев подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше,— жирная туша, дрожаящая, как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бациллы, проникающие в организм, моментально погибают. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана Удуза и А-Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А-Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечко! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы; они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный туман, насыщенный мириадами бацилл. Видя, как с боль-

ных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишасшим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым. Надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали — в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник, во всяком случае я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма — 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я, — 29.62! — могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Немного можно было сделать при данных обстоятельствах, но это немногое он выполнил превосходно. Он оставил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как палетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если — вот тут-то он и сплеховал, — если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шхуну надо было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр, и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов, кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера — это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, труды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные — все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и, так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувырком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А-Чун и один из американцев попытались влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А-Чун ухватился за штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверное, фунтов в двести пятьдесят, упала на него и ухватилась рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый бок.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А-Чуна и рулевого, — и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А-Чун усмехнулся мне с философским смирением.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на судно, почти все взобрались на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных. Они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло взад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать



в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве можно описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимые миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе далее, что песок невидим, неосязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это — и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок — неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, неосязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов! Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возможности передать сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах, — плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают подобно змею; он врезается в воду так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь оттапливался у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись

мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепутал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня; я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре циклона. На нас обрушился новый страшный удар — полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Надвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер — и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подсакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески — и все! Всплески высотой в восемьдесят футов. Восемьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивали друг друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» — побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя обезумевшей стихии.

Что случилось с «Крошкой Жанной»? Не знаю. Язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассыпалась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» раз-

летается на куски. Вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось,— не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они, как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассыпалась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка. Я понял, что продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и зажмурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футов в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки; по крайней мере, дрался Удуз.

Я услышал визг «Удуза: «Раѐп поїг!»<sup>1</sup> — и увидел, как он стукнул канака ногой.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий — он пришелся язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канака тоже стукнет его как следует, но он ограничился тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибывали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычком.

— Я вот пушу тебя на дно, белая скотина! — заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впо-

---

<sup>1</sup> Раѐп поїг (франц.) — черный язычник, безбожник.

следствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спастись вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы впервые встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов и сложен он был, как гладиатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он никогда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билли Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, этакая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками. Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. Итак, мы оба держались за мою крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погрузившись в воду до самого подбородка, лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял созна-



ние, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно, погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах южных морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне. И Отоо пришел в неопикуемый восторг от этого предложения.

— Это хорошо, — сказал он по-таитянски, — потому что два дня мы вместе смотрели в глаза смерти.

— Но смерть поперхнулась, — сказал я улыбаясь.

— Вы были храбры, господин, — ответил он. — И у смерти не хватило наглости заговорить.

— Почему ты называешь меня «господином»? — возразил я, притворяясь обиженным. — Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня — Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

— Да, господин, — ответил он, и глаза его засияли тихой радостью.

— Ты опять! — закричал я в негодовании.

— Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? — сказал он. — Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами отныне и навеки ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я сдержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папеете мы расстались. Я остался на берегу, чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене, и забыть о дальних путешествиях.

— Куда ты поедешь, господин? — спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

— Буду скитаться по всему свету, — ответил я, — по всем морям и по всем островам, которые лежат в этих морях.

— Я поеду с тобой, — сказал он просто. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом, и я не смел запятнать себя. Я был его идеалом. Конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко стою в его глазах. Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем есть на самом деле.

Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны. Он служил на судах вместе со мной. И мы с ним избороздили весь Тихий океан — от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Крус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар, — будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папеезе, сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папеезе был своего рода клуб, где соби-

рались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупной, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И, когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И тогда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачеств и веселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали. Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснял он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки потому, что не заботились о своем здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлебнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и

размышлял о моей судьбе больше, чем я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папэте, когда я раздумывал, вступать ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень — мошенник. Этому не знал ни один белый в Папэте. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными дружками, и на свой страх решил разузнать все о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и проницательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был по-мальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение — удобному ночлегу под крышей. Словом, хорошо что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег — ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избородили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место за гробного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у



самого берега — весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль борта лежали снайперы.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их подняться на плантации Квинсленда, Отоо не спускал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету. Помню, однажды, когда мы плавали на «Санта Анна», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Малаите, самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружелюбно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, и особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что небезопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из манговой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копьё, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, рамахивая боевыми, укра-

шенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получить награду, что они толкались и мешали друг другу. В суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо. Отоо-борец. Он где-то раздобыл тяжелую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезнее ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, и топоры только мешали им. Он сражался за меня с исступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезрелые апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

— Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще, — сказал он мне однажды. — Сейчас тебе легко добывать деньги. Но, когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил повадки белых. На побережье много стариков. Некогда они были молоды и могли зарабатывать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — матрос. Он — навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вы-

шел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я команду. Но Отоо не унимался.

— Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец — вот кто получает больше. Судовладелец, который сидит на берегу и делает деньги.

— Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, причём старая шхуна, — возразил я. — Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

— Белый человек может разбогатеть очень быстро, — продолжал он, указывая на берег в зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и купали «растительную слоновую кость».

— Между устьями двух этих рек расстояние мили две, — сказал он. — Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадалканаре: арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девятьсот девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея — поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Уполу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо: он бродил по дому,

заглядывал в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не нужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и — бог свидетель — мы все от души его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболел, он не отходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мэри бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Франку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора, — сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров.

У меня была идея — заставить его тратить деньги, по праву принадлежащие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

— Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна», — ответил он наконец. — Но, если твое сердце так пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я бесплатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удить рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богач. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по



закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал ворчать.

— Чарли, — сказал я, — ты старый обманщик, несчастный скряга, жалкий краб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь написано, что за год ты истратил восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— Мне еще что-нибудь причитается? — спросил он озабоченно.

— Я же сказал: несколько тысяч долларов, — ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

— Это очень хорошо, — сказал он. — Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал... А если случится недостача, — помолчав, добавил он жестко, — ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мболи. Мы стали на якорь у острова Саво в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Саво так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда везет, что крошечное перегруженное туземное каноэ, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем было, вернее, за него держались четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спускали шлюпку, раздались вопли одного из

негров. Он держался за конец каноэ, и его несколько раз потянуло вниз вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каноэ. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничего не помогло. Их охватил безумный ужас. Каноэ едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть, нет ли акул. Человек, оставшийся у каноэ, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огромную акулу, проплывающую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душевраздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя годовная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые напали на негра вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло — я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать. Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернулась в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и, прикоснувшись к ее боку, напомиравшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал

за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

— Плыви к шхуне, господин! — сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении. — Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

— На боканцах снесло такелаж, и они его крепят, — объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую минуту ей мешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

— Прощай, Чарли! Это конец, — задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, что через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется.

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

— Забирай влево! — крикнул он. — Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было... В следующее мгновение он показался на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

— Отоо! — негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в мо-

лодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо — единственный язычник с острова Бора-Бора.

## ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человек откинулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает, — свинья. Он не сказал: «поступила по-свински», а грубо заявил, что она — свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так выразиться о женщине.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, — позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал, — пробормотал он неуверенно, — что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что... — начал он дрожащим голосом.

— Что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.



Наступило долгое, напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неопишьюмые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который выразился не совсем деликатно, и высказали свое мнение о нем, — сказал Трелор спокойным, ровным тоном. — Теперь я расскажу вам об одной женщине — прошу прощения, о леди, — и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Я назову ее хотя бы мисс Кэрюферз, — просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет назад.

Мисс Кэрюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать — изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не буду, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяюсь, — была изумительна! Другого слова не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно, как кто-то сказал о Наполеоне. А как она плавала, — стань она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела! Она была одной из тех редких женщин, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней удивительно. У нее были чудесные руки: у плеча — только намек на мускул, нежная округлость до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну, я разбираюсь и в анатомии, и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как она умудрялась это проделывать.

Она могла оставаться под водой две минуты — я

проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет зараз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море было ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... Она была совершенством. Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда полудюжиной пылких поклонников, томно-небрежную или сверкающую остроумием, которым она их покоряла и жертвой которого они часто бывали, можно было подумать, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться, — все ходили перед ней на задних лапках, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов. Был среди нас и один приятный, немолодой уже человек, — фамилия его, кажется, была Перкинс, — который вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрюферз поставила его на место.

Мужчины были воском в ее руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как ей вздумается. Она была сдержанна и надменна, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облизывал супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрюферз была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обая-

тельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что она была горда. В ней соединялись гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Странная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишашую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле, или серой, которая забредает сюда из австралийских вод, и раньше, чем пассажиры разберутся, в чем дело, мальчишки все уже выбрались в безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбалась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся, — словом, дирижировала всем.

Ее особенно интересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок согнувшись и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. И только один из них делал превосходно и это, как и все остальное. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой», и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, и падал, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь как чудесный, яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчишке жизнь была ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в его глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода, — такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетели вверх. Мальчуганы карабкались наверх, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное, — ответил капитан Бентли. — Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.



— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он, в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она вздрогнула. — Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула, — пояснил он, указывая на воду.

— Нет, — сказала она, — акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен, — шепнул Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли. — Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрюферз только рассмеялась, упорствуя

в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика со-  
вереном.

— Не искушайте его, — настаивал Деннитсон. — Это  
для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и до-  
бавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените, — заметила она. — Сколь-  
ко нужно совершенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено, — был ответ.

На мгновение мисс Кэрюферз задумалась. В стыч-  
ке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему  
золотой, прельщая его таким огромным богатством. За-  
тем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к  
поручням; только резкие окрики товарищей удержали  
его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь, — сказал Деннит-  
сон. — Дурачьтесь сколько хотите, только, ради бога,  
не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не  
рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех  
это было полной неожиданностью. Золотая монета вы-  
летела из-под тента, сверкнула в ослепительном сол-  
нечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море.  
Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за  
бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно.  
Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром,  
и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска  
нырнул в воду мальчик. Раздался общий крик ребята-  
шек, у которых глаза были зорче наших, и мы броси-  
лись к поручням. Ерунда, что акуле для нападения  
нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась.  
Вода была прозрачна, и мы сверху видели все. Акула  
была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю кто,  
может быть, я. Затем наступило молчание. Первой за-  
говорила мисс Кэрюферз. Лицо ее было смертельно  
бледно.

— Я... мне и в голову не приходило... — сказала она  
с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить

самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно лица поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, но никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон! — сказала она. — Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И всё. И кругом — молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнулась и должна была опереться о стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну, — заговорил он наконец, — что вы скажете о ней?

Человечек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать, — пробормотал он, — нечего.

## МЕКСИКАНЕЦ

### I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты<sup>1</sup> и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса<sup>2</sup>. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Шта-

---

<sup>1</sup> Хунта (испанск.) — комитет, общественно-политическая организация.

<sup>2</sup> Диас Порфирио (1830—1915) — реакционный правитель Мексики. Свергнут в 1911 году в результате движения народных масс.

тов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привет.

Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба.

Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней; она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Незвестностью, и Незвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично, — холодно произнес он. — Ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции, — отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.



— Хорошо, — сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружались — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит, найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали не отосланные в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера падел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса?— сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю!— Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое,— заметил Рамос.

— В его душе все притупилось,— сказала Мэй Сэтби.— Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь— неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю: боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анжелосом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лон-Анжелосе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварado, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он разрушил все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварado был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорил вам, — сказал Вэра. — Больше чем кого-либо, Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга, — говорил Ареллано.

— Завсегдатай злочных мест, — говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра. — Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек, — заметила Мэй Сэтби. — Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить, — предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит, —

сказал Вэра. — Думаю, что вы больше никогда не увидите бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком, — признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя, — подхватил Вэра, — он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем, — сказала Мэй Сэтби. — У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок. — Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

## II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на ча-



ше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все: социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль неся от самых берегов Атлантического океана.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую мутью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать Юг. Но пламя перекинется и на Юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружают город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпнут до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда — новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен своей собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу?— спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки, — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума!— сказал он.

— Через три недели,— отвечал Ривера. — Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки,— повторил он. — Я ухожу.

### III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были свя-

заны выступлениями, контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка, — едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда. — Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание. — Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать яублику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу:

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли, — последовал неторопливый ответ. — Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и в добавок здорово изматает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Суший дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично.— Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне». Щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.— Келли повернулся к тренеру:— Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился:

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальчика. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый, как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший



обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю, — заметил секретарь. — Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем, — подтвердил Робертс. — И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам, — сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего, ему нужны деньги; и он неплохо поработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкнешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остро-ты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспевания. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. — Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это так! — шутливо обратился Дэнни к менаджеру. — Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анжелос здорово обеднел, если это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс. — И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана, — жалобно протянул Келли. — Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

— Потихе, потихе, — сказал Дэнни менаджер. — С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту, — улыбнулся Дэнни. — Я готов сначала понынчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет, — последовал ответ. — Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу. — Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет. — Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят. — Он обратился к менаджеру: — Подходяще? Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере. Ривера покачал головой.

— Так вот слушай, — сказал Келли. — Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера, — подтвердил Робертс. — Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь, — поспешил пояснить Дэнни. — Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все, — решительно сказал он. Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей, — сказал он. — Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опойт меня? — Он величественно вскинул голову. — Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все, — угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей, — начал доказывать Келли. — Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает.

За пределами Лос-Анжелоса никто и не слышал о тебе.  
— Еще услышат, — пожал плечами, отвечал Ривера, — после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?! — не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди, — убеждал Келли. — Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги, — отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь, — заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера. — Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен, — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. — Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере: — Когда взвешиваться?

— Перед выходом, — последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять, — продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова закрипело.

— Это, значит, лишних пять футов, — недовольно заметил Робертс Ривере. — Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.



#### IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклатие великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Билли Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким, маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более тонко организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из здесь присутствующих, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хагэрти. Спайдер был главным секундантом. — Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анжелос, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за девять центов работающих целую смену. Видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц», — год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио<sup>1</sup> и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинноусого человека который всех любил, и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо<sup>2</sup>, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменял и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хагэрти:  
— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Патио (испанск.) — внутренний дворик.  
Мучачо (испанск.) — мальчик

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее, локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами, — все они этим питались и мучились резами в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании, тысячи голодных рабочих, генерал Росальо Мартинес, и солдаты Порфирио Диаса, и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли высказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хагэрти склонилась над ним.

— Не поддаваться страху, — предупредил Спайдер. — Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ло-

житься. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Денни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, исполковывая не слышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок, — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться, — сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Денни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хагэрти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.



Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера, — тянул Робертс. — Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу. — Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья рознял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту, были безграничны, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца.

Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, — этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю, — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз, когда судья сосчитал до семи, он уже отдышал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше чем будет произнесено десять. Если при счете десять колена Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колена отрывается от пола, он считается «на ногах», и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колена Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти по-

полам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца, — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладающему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, губительным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Денни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам — винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца: четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раун-



да. Уже выигравшие эти пари теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким, быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой руки теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете девять. Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу», от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давал дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициа-

тиву. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хагэрти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул. — Дэнни должен победить... не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов, — сказал он. — Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он. — Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь, — поддал жару Спайдер Хагэрти. — Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик, — настаивал Келли, — и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонка зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть губительного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает!

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ри-

вере. — Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нарастающая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья. — Мне не к чему придаться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих грингов! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с нена-



вистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гинго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это — винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. Перевод Н. Дарузес . . . . .	3
БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ. Перевод А. Еманской . . . . .	21
КОСТЕР. Перевод В. Топер . . . . .	31
ТЫСЯЧА ДЮЖИН. Перевод Н. Дарузес . . . . .	46
КОНЕЦ СКАЗКИ. Перевод Н. Аверьяновой . . . . .	63
НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО. Перевод М. Богословской . . . . .	86
ОТСТУПНИК. Перевод Э. Александровой . . . . .	96
ЯЗЫЧНИК. Перевод М. Бессараб . . . . .	114
ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ. Перевод И. Гуровой . . . . .	134
МЕКСИКАНЕЦ. Перевод Н. Ман . . . . .	141

Джек Лондон

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Редактор Л. А. Андреева. Художественный редактор Г. В. Соколова.  
Художник Г. С. Краснов. Технический редактор Н. Н. Черная. Кор-  
ректор В. Н. Ключина.

ИБ № 1099.

Сдано в набор 12.10.84. Подписано к печати 21.01.85. Формат 84×108<sup>1/8</sup>.  
Бум. тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,82.  
Усл. кр.-отт. 9,14. Уч.-изд. л. 9,397. Тираж 100 000 экз. Заказ 426. Цена  
с припр. пленки 1 р.

Красноярское книжное издательство 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 89.  
Типография «Красноярский рабочий», 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 91

